Оглавление

Хоровод цветочка обыкновенного 9

История первая. ДВАДЦАТЫЕ 14

История вторая. ТРИДЦАТЫЕ 30

История третья. СОРОКОВЫЕ 191

История четвертая. ПЯТИДЕСЯТЫЕ 380

История пятая. ШЕСТИДЕСЯТЫЕ 555

Посвящается родным гробам,
домашним пирогам
и той доле нежности,
которую каждый из нас
так и не смог потратить.

Хоровод цветочка обыкновенного

Вы, цветы ли мои, цветики,
Вы, цветы мои лазоревы,
Вас посеяно немножечко.

Вас посеяно немножечко, —
Уродилося дивнешенько,
У родимого у тятеньки.

Уродилося дивнешенько,
У родимого у тятеньки,
У родимой-то у маменьки.

Из уральской народной песни

Если вздохнуть всем народом — ветер будет.

Советская пословица

«Мать-и-мачеха — это гвоздика для бедных», — говорила бабка Дарья, вторая жена Веркиного деда, зачем-то при этом кокетливо пощипывая край темной старушечьей юбки в мелкий блеклый горошек, важно покачивая головой и голосом. Первая его жена, лучшая висимоуткинская швея, повесилась. Чуть ли не на следующий день после ее смерти привел дед в дом полюбовницу, эту вот Дарью, поставил перед ней только что осиротевших четверых детей: «Вот вам новая мать!»

В деревне поговаривали, что с полюбовницей он познакомился, еще когда она пришла к той самой первой жене за новым платьем. Пошитым платьем осталась Дарья довольна. Как, впрочем, и мужем швейки, Иваном Уткиным, красивым, крепким мужиком. Поговаривали, что и повесилась

Веркина бабушка как раз из-за разлучницы, не в силах вынести не столько измену, сколько зуботычины охладевшего к ней мужа. Иногда поговаривали даже, что не сама повесилась бедная баба, а муж удавил опостылевшую вожжами в сарайке. Сама ли повесилась Веркина бабушка, заставили ее согрешить смертным грехом или убили — в любом случае было неважно. Все равно свою родную бабушку Верка ни разу в жизни не видела, называя бабкой старую Дарью. Та же, настоящая бабушка, родная, но совсем незнакомая, умерла настолько задолго до рождения внучки, что даже имя первой жены Ивана Уткина стерло время, и через сто лет в семье помнилось только имя второй, никому не родной по крови.

Дарье, бабе бездетной, на момент удачного, а главное, первого (и единственного) брака исполнилось уже пятьдесят. Пока не состарилась, работала горничной у местных, по большей части у одиноких мужчин-господ, что «поважнее», работала даже в семьях «в городе», то есть в Нижнем Тагиле, угождая хозяевам, то есть опять же мужчинам. Но об этом изредка вспоминали лишь злоязычные соседки и никогда не вспоминали в Веркиной семье.

Разве что по выходным и праздникам, уже гораздо после смерти своего старика, выпив с Матреной самогона больше, чем обычно, бабка Дарья, отсырев, рассиропившись, открывала стоявший рядом с ее постелью сундук и начинала хвастаться, доставая из него, одну за другой, слежавшиеся за сорок-пятьдесят лет, пахнущие нафталином, но до сих пор крепкие и интересные вещи: «А вот эту горжетку мне Степан Лександрыч подарил, видный был мущщина, хоть и в годах. А вот этот отрез — Иван Васильич, любил он, помню, в чай завсегда рюмочку ерофеича, хи-хи, добавить. Меня заставит сесть с ним за стол чаек погонять, ну и мне настоечки в чашку. Двойную порцию. Не жадный был. То ткани на платье даст, то шаль, а в день ангела и сахарную голову выдаст. Ты, Даренка, говорит, сама вся как сахар. И за щечку ущипнет. А вот это… — Дарья вытаскивала откуда-то снизу,

из-под тряпок, из-под когда-то модных ботильонов с перламутровыми пуговками, завернутых в отдельную холстину, из-под жестянок с чайной заваркой и с леденцами — при стуке их Верка сглатывала мгновенно набегавшую слюну, — шкатулку купоросного стекла и торжественно выуживала из нее тяжелые малахитовые бусы и колечко, сверкавшее ярким аметистовым камушком. — А вот этим меня сам Пантелеймон Петрович одарил! Ты, говорит, Дашка, еще дороже стоишь! Целуй, говорит, ручку в благодарность!»

Пьяная бабка раскладывала на коленях отрез ярко-красного, вырвиглаз, шелка, потемневшего, впрочем, от пыли по сгибам, пристраивала на сморщенной шее богатые бусы, перекидывала через плечо богатую песцовую горжетку, с трудом надевала на кривоватый, сморщенный, как у мумии, палец колечко с аметистом. Матрена протягивала было руку — погладить темную полоску на меховой спинке, но Дарья отталкивала ее жирные от селедки, воняющие луком пальцы: «Убери, я тебе говорю! Не твое — не лезь». Та покорно наливала бабке полный стакан, сама же продолжала жадно общупывать взглядом каждый малахитовый шарик, каждый серебристый песцовый волосок…

«Может быть, бабке Дарье там, в горничных, кто-то и гвоздику подарил?» — думала каждый раз, срывая очередной желтый цветок, Верка, которая, впрочем, ни разу в жизни этой загадочной гвоздики не видела.

Мать-и-мачеха Верке нравилась: и своим горьковатым маленьким цветочком, и кургузым, маленьким же, как Веркина жизнь, стебельком. И сама Верка была рыжей и конопатой, чисто желтый цветик упрямый. И почему в деревенской прозе дети всегда рыжие и конопатые? В крайнем случае белобрысые и обязательно со щербинкой между передними зубами. Смех смехом, но Верка действительно собрала все самое яркое от классической героини деревенской прозы: и щербинку, и рыжину.

Это потом каждый мог заметить даже на черно-белых фотографиях ее молодости. Детских снимков не сохрани-

лось, то есть их совсем не случилось, а вот на «девичьей», то ли сорок шестого года, то ли сорок восьмого (где Верка сидит с деревенской подругой в деревенской траве, возможно, даже с пучком деревенских ромашек сбоку), нельзя не разглядеть, что Веркины лицо и руки — все в конопушках, а волосы слегка вьются — по-особенному, как они вьются часто у рыжих и рыжеватых, непонятно даже, как точнее сказать, просто… ну, просто вьются, как у рыжих.

Рыжина вышла наследственной, хотя время потихоньку вымывало ее из кожи и волос потомков, как золото из руды: волосы Нади, Веркиной дочери, были уже просто русыми, хоть и переливались золотисто на солнце, будто свет, попавший в летнюю бегучую воду. Зато все плечи и спина остались испещрены веснушками, как неудачное яблочко — коричневыми пятнышками. У Любочки, Веркиной внучки, волосы оказались уже обычного, как у многих коренных местных, незаметного мышиного цвета, веснушки же появлялись только летом и на носу. Правда, после сорока начали обнаруживаться понемногу и на груди, и на спине, и на руках, и, глядя в зеркало, по ним Любочка узнавала в себе бабушкину внучку.

…Летом две тысячи двадцать первого, в очередной раз наслушавшись материнских историй (Верка — она же баба Вера — к тому времени уже умерла), Люба добралась-таки до Висимо-Уткинска — просто посмотреть.

Увидела и реку с диковатым названием Межевая Утка, и почти фанерные, игрушечные, наивные, отражающие сами себя в реке облака, и лес, стоящий вокруг деревни классической, той самой — темной! — стеной, и, среди новых и скучных, дома пожитые, с резными, несколько покосившимися воротами, кое-где настолько старыми, почерневшими, что они, как и любая дряхлость вещей, вызывали одновременно и восторг, и легкое животное отвращение; увидела это все — и совершенно не узнала, хотя и ощутила что-то нутряное — *родовое?* — в животе, в груди, в горле, не столько

чувство, сколько почти физическое ощущение: не она сама здесь побывала когда-то, а:

забытая в чьей-то машине ее куртка, проехавшая через Висимо-Утку;

ее кот, до встречи с Любочкой гулявший сам по себе — возможно, что и по здешним огородам;

не дочитанная ею книга, оставленная в маршрутке и найденная кем-то, оказавшимся потом, конечно, именно здесь, на соседней улице, —

то есть все то, что Любой назвать никак нельзя, но что непостижимым образом навсегда останется ее частью.

История первая
ДВАДЦАТЫЕ

Если б я была голубка,
Если б я была сизая,
Эх, да сизая.

Легки крылышки бы имела,
Крылышки бы имела, да,
Эх, да имела.

Я бы к Ленину полетела,
К Ленину полетела бы,
Полетела бы.

Все ему бы рассказала,
Рассказала про горюшко,
Рассказала бы.
Из уральской народной песни

Нет земли краше, чем Родина наша.
Советская пословица

Матрена печь пироги не любила. Ставить тесто и ждать, пока дойдет. Ждать Матрена тоже не любила. И вдвойне не любила, что ожиданием работа не заканчивалась. Одно покроши, второе покроши, третье потри, первое потуши, перемешай со вторым, мороки-то сколько! Потом раскатывай тесто, как будто больше тебе в жизни заняться нечем. И непонятно, как раскатать так, чтоб вышло, как мама учила: тонкое, но не рвется; пышное, но, не дай бог, не толстое; мукой стол посыпать, но не настолько густо, как снега за окном в январе бывает. Морока же, морока. Начинку разложи, да и не много, и не мало, и про лук не забудь, и не пере-

соли, и не недосоли, и умасли начинку — чтобы среди капусты сияли и быстро исчезали масляные растекающиеся звездочки, и сметаной сдобри, если есть, — для сочности и запаха. Потом защипать. Правильный пирог — размером с противень, и не тот, где нижний слой текста с начинкой закрывается верхней тестяной крышкой, а тот, где тесто изначально раскатала повариха так, что одного тестяного полотна хватит на все: боковинами закрываешь верх, защипываешь пирог посередине, чтобы все видели — так раскатано, что и тонко, и не рвется, ох уж это опять «не рвется».

Ставишь в печь. И опять следи, точнее, и следи, и другие дела успевай поделывать. Не пересуши, но и сырым внутри из печи не вытащи, не сожги, однако и помни, что белые края, не говоря уж про испóд пирога, выходят только у плохой хозяйки. Сами знаете: *без горячего пирожка не будет у девки милого дружка, у бабы и мужика не будет, кто ж тебя, ленивую, полюбит?* Хотя, может, вовсе и не о пирогах так говорят. В общем, если не уследишь за печевом, от матери пару ласковых получишь (хоть и не злой была Матренина мать, однако сильно не любила, когда еда впустую уходит), и сестры — пискли, от горшка два вершка, а все туда же! — смеяться будут. И ведь получала Матрена от матери не раз — и леща, и по щечке нерумяной. А все равно не могла сделать так, как должно, как ни старалась.

После она долго злилась: все вот могла, но не эти клятые пироги. Летним вечером выходила на улицу, садилась у дома и разглядывала, злясь, закатные облака: они отражались в ее глазах, как пирожки — поджаристые ровнехонькие, пухлобокие. И Матрена злилась еще больше.

Зато мать ее, Сонька Углова, своими пирогами славилась по всей Висимо-Утке. Муж посмеивался, что только за пироги ее замуж и взял. Тесто у Соньки поднималось, как ни у кого, корочка выпекалась румяная, будто то ли рассвет, то ли закат — в общем, красиво, а уж вкусные какие выходили! С трех уж до отпуза сыт, а все равно рука сама в рот еще один тянет.

Братьев у Соньки имелось два. Младшенькие. Погодки, два колоска с одного поля — Сонька их сильно старше была. В семнадцатом году, когда у Соньки была уже своя семья, и немалая, только один из братьев оженатился, Семен. А Савелий еще холостым ходил. И вот девятнадцатый год разломил братьев надвое, как пирог, — Савелий ушел с красным отрядом, Семен — с белым.

Родину, — оба сказали, — *надо защитить! Народ*, — оба сказали, — *изнемогает! Только за мною правда!* — оба сказали. И ушли. И пропали. Лишь раз или два слыхали домашние, что Савелия белые ищут — больно лютый он до них. Раз лютый и ищут, значит, жив! *Славатегосподи!* Семенова жена родила мальчика, продолжала жить с мужниными родителями.

Год, что ли, прошел. То одна в деревню захаживала армия-банда, то другая. Местные иногда и сами не понимали, кто из наехавших кто, понимали только, что есть хотели и те, и другие. Убить могли и те, и другие. Так однажды пришли и белые — прямо к родителям Соньки: искали Савелия. Не нашли, ушли, оставили о себе памятку — две пули, по одной на каждую родительскую голову. Так Сонька сиротой стала. Хорошо хоть, своя семья у нее уже была. Жене Семена Тоне и ребеночку их тогда сильно свезло — точно бы пришибли, кто бы среди крови и криков разбираться стал, свойская перед ними жена, белая, или чужая, красная, народная? — уехала баба с дитем в соседнюю деревню родителей навестить — болела Тонина мать. Тем и спаслись. Вернулись, а до́ма пустые стены ждут: для двух гробов место есть и еще останется. Просторно. Хоть танцуй! Зажила Тоня одна в доме с сыном.

А потом случился голод. Большой голод. Муж Сонькин тогда умер первым — так странно ей показалось: самый сильный, а помер первым! Сначала чуть даже легче вышло, когда мужика не нужно стало кормить. Детям больше стало доставаться. Но и этого невидимого излишка надолго не хватило. После еще и двоих деток смерть из семьи повыбирала-

повыщелкивала, как горошинки из стручка. А потом пришла весна двадцать второго: как пахать? Ладно, Матрена жила дома: замуж никто не брал, а ведь уж двадцать семь должно было в этом году исполниться. Лицо оспой побито, характер — будто тоже потраченный чем. Пусть лишний рот, и работала с какой-то почти ненавистью, однако работала в поле не хуже мужика. И съестного на нее уходило гораздо меньше, чем на мужской пол.

Самый сытный кусок Сонька отдавала Петеньке, младшему сыну, самому любимому, самому позднему, хотя толка от него было меньше, чем от любого другого ее ребенка. Но чем больше он ел, тем больше слабел. Громче всех ныл, остальные молчали, а этот: «Мама, хлеба», «Мама, есть хочу», вечное это «мама, мама», которое тем больнее, чем меньше можешь дать; *собой бы накормила, но нечем*, те же у Соньки, что и у детей, тощие кости, обмотанные кожей и жилами, тот же пустой черный рот, из мяса только язык и остался: колыбельную шелестеть, бога молить — уже не о долгой жизни, а о быстрой смерти.

Однажды Софья встала ночью, пока дети спали, пока голодные тени густо собирались в их глазницах, вокруг западающих детских ртов, как будто дети уже умерли, хотя и бормотали что-то во сне, двигали худыми руками. Встала и долго сидела рядом с Петенькой, спавшим с ней на лавке: грудное молоко у Софьи иссякло, зато тепло тощего тела могло еще греть. Вот и спала вместе с ним, обнимая, если плакал, утешая шепотом не столько его, сколько себя. Сидела час или два: лунный свет выбелил тени, вычернил мальчиковы ресницы — ангел, да и только, если бы не запавшие щеки и губы, будто всасывавшие невидимое, ненастоящее молоко. Спал, дышал тихо-тихо, без вечного своего тревожного «мама». Софья взяла свою подушку — тощую, заплатанную. Наклонилась над сыньим личиком, занесла подушку. Петенька! Занесла подушку, значит, повыше и… положила обратно. Снова легла рядом, обняла легкие невесомые косточки, похожие на птичьи, стала греть, слушать детские

часики Петенькиного дыхания: вдох-выдох, вдох-выдох, тик-так. Заснула.

На следующий день Сонька отправила остальных из дома в лес: «Хоть что-то съедобное, а найдите. Или не возвращайтесь! А я стирать на реку пойду». Матрена дернулась было: «Вот еще, не хочу с писклявыми! Они и без меня обойдутся». Год от года, своей детской оравы не нажив, Матрена все больше не любила родственную: сгонять всех в стадо, утирать сопливые носы, слушать детский визг, всегда визг; даже если говорили шепотом — все равно выходил у мелочи один сплошной визг! Но мать цыкнула на нее, замахнулась, чего отродясь с тихой Сонькой не случалось: «Делай, как сказала!» Матрена надулась и побрела с сестринско-братним выводком, пошатываясь, как и остальные, с голоду, но побрела: за черемшой, за сосновыми почками, за травой, дай бог, найдут еще чего; так или иначе, не с пустыми руками прибредут обратно.

Сонька проводила всех. Посмотрела, как уходят: становятся все меньше и меньше, превращаются в спотыкающихся мушек на стекле горизонта. Зашла в дом и заперла двери, чего давно уже не делала. Петенька полулежал-полусидел на кровати, пытался улыбаться и жить. Сонька поставила в печь закипать чугунок с водой. И рядом еще малый глиняный горшочек с водой. Открыла огромный сундук — еще из приданого! — и быстро, задохнувшись, перестав дышать, будто кинулась в холодную воду, вытащила какой-то мешочек. Достала травку. Заварила, как дошла водица в малом горшочке. Налила в стакан настоечку, стала мешать ложечкой, стуча ею по краям, будто постукивая зубами на морозе. Вынула ложечку из стакана, аккуратно положила рядом. Долго еще дула на воду, охлаждая. Села рядом с Петечкой, приподняла голову и напоила его, как ни похныкивал, ни отворачивал голову — *горько*! Теплый травяной дух заставил порозоветь детские ноздри и щеки. Сонька гладила сына по голове, выпевала слабеньким, пересохшим от недоеда голосочком:

Котик черненькёй,
Котик тепленькёй.
А у Петеньки
Лобик беленькёй.
Хвостик черненькёй,
Хвостик тепленькёй,
Спят с дитем вдвоем,
Оба маленькёе.
Ты мой Петенька,
Ты мой беленькёй,
Закрывай глаза —
Звёзды серенькёе.

Сонька ждала недолго. Петечка заснул, еще когда она начала петь про хвостики. Сон его казался тихим, не то что ночью, когда часики стучали громко, а сердце Соньки повторяло каждый стук. Хорошо, что спит и не проснется долго. Сонька, как и ночью, взяла в руки подушку, все ту же — заплатанную, тощую, как ее грудь. А потом положила Петеньке на лицо. Петенька спал крепко.

Ничего не изменилось.

Просто часики перестали тикать: *тик-так, тик-так, так-так, тик…*

И все.

Может, еще что было, но: *не было этого ничего*, сказала сама себе Сонька. *Показалось!*

Сняла подушку с Петенькиного лица.

Забытый в печи чугунок с водой продолжал кипеть.

Достала из-под подушки чистую тряпку — двойную занавеску из приданого, расшитую подсолнухами, кружевом отороченную; пожелтела занавеска от долгого лежания в сундуке: так и не случилось радости, чтобы вытащить на свет, чтобы повесить к празднику, полюбоваться. Кинула на скамью рядом с сыном. Сложила Петеньке руки на груди. Перекрестила. Вышла в сени, вытащила из-за дверей давно припрятанную лопату.

Копала в примеченном заранее углу огорода с брошенным там сломанным колесом и какими-то гниющими ящиками. Копала яму быстро: не дай бог, увидит кто. Тогда все пропало! Земля поддавалась не так легко, как хотелось, Сонька давно обессилела. Но продолжала копать. Докопала.

Вернулась в дом. Взяла Петеньку, маленького, легкого, на руки. Голова его свесилась вниз, ноги обвисли, как мокрая трава. Но об этом нельзя было думать. Подхватила занавеску. Вынесла его в сени. Положила на пол. Достала из того же угла топор. Повесила — пока что — занавеску на гвоздь, торчащий из стены.

И рубанула по шее. *Реснички темные длинные, лобик с прилипшей прядкой, губы милые: «Мама!»* Затем отсекла ноги и руки. Подумала вдруг: хорошо, что маленький, взрослого она могла бы и не осилить, времени и сил больше на него понадобилось бы. К горлу подкатила тошнота: от голода, не от отвращения. И кровь почему-то не пугала. Сонька посмотрела вниз на кожистые плеточки рук-ног, заканчивавшиеся странно, *как будто человечьи,* маленькими ладошками и детскими бледными ступнями, замазанными красным, и вроде что-то забрезжило глубоко внутри: *маленькие пальчики, совсем маленькие, целовала их, было же когда-то времечко, тик-так*. Думать об этом было нельзя, некогда, незачем. Сонька поняла: вот пальчики — не сможет видеть! Никому не сможет их отдать. Хотя и это была еда, была жизнь. А вот не сможет, и все тут. И отняла от плеточек-ручек-ножек пальчики со ступней и кистей рук, стараясь работать топором так, чтобы — только почти пальчики срубить с тела, только их, чтобы осталось-таки побольше мяса детям. *Еда, Господи, это еда, что же ты делаешь, Господи.*

Положила голову, пальчики на одну половину кружевной занавески — вот она, случилась-таки радость, только любоваться никак. Завернула. Белое кружево тут же начало алеть, чернеть, тяжелеть. Но нельзя было об этом думать. Вытащила во двор. Положила в яму, забросала землей, возвернула на место глыбья с травой и корнями, прикатила

и бросила сверху колесо, поставила обратно ящики. Так и было. Как все и было. То есть: *а ничего и не было*.

Вернулась в дом. Она никогда так и не смогла вспомнить все, что делала, как никогда и не смогла понять, откуда взяла на это силы. Но смутно помнила, как быстро мыла пол, как раздирала безжалостно вторую половину занавески «на тряпки», помнила, как бросила часть мяса в кипяток — на несколько минут, чтобы обварилось. Еще часть обложила листьями крапивы и завернула в мокрый обрывок занавески. Положила в горшок, плотно закрыла крышкой. Вытащила недоварок, засунула его в другой горшок. Открыла в голбце ход в погреб. Из него потянуло холодом и сырой землей. Залезла. Погреб давно пустовал, забитый всяким хламом: горшки, корзины, другие вместилища для еды — без еды. Вот только в одном месте, под нижней полкой, доску можно было убрать — Сонькин муж, бывало, прятал там разное. Сонька потянула на себя доску — на лбу ее вздулась синяя жилка. Поставила горшки с мясом в потайное место. Вернула доску на место. Завалила подход к доске старьем. Вытерла пот со лба — холодный.

Дом Соньки стоял на краю деревни. Хорошо. Сонька скрутила из грязной одежды куль, взяла-обняла. Похоже, что ребенка тащит. А то вдруг кто увидит. А увидеть каждый может. Накидала в бадейку еще тряпок. Выглянула в окно. Уф. Перекрестилась. В одну руку: куль-ребенок, во вторую — бадейку. И — пока никого не видно, а если и видно, то далеко — пошла быстро, настолько быстро, насколько позволяла усталость от голода, застилавшего зрение, привешивавшего пудовые гири к ногам, до Межевой Утки, вниз, через горку, через сосны, *если потом спросят: «Зачем так далеко?» — скажу, что хотела Петеньку к речке, под сосенки сносить подышать. Для здоровья. Лишь бы никого не встретить.*

Не встретила. Повезло. Спустилась вниз. Устроилась у воды. Раскинула-развернула старую детскую одеялку — будто бы для ребенка. Прислушалась: тихо везде. Пусть и дальше тихо. И главное: не кричал никто «мама, мама!», не просил